

83.3(2P_{0C}=P_{YC})1
Б90 - 14Гб,
ТФ

531

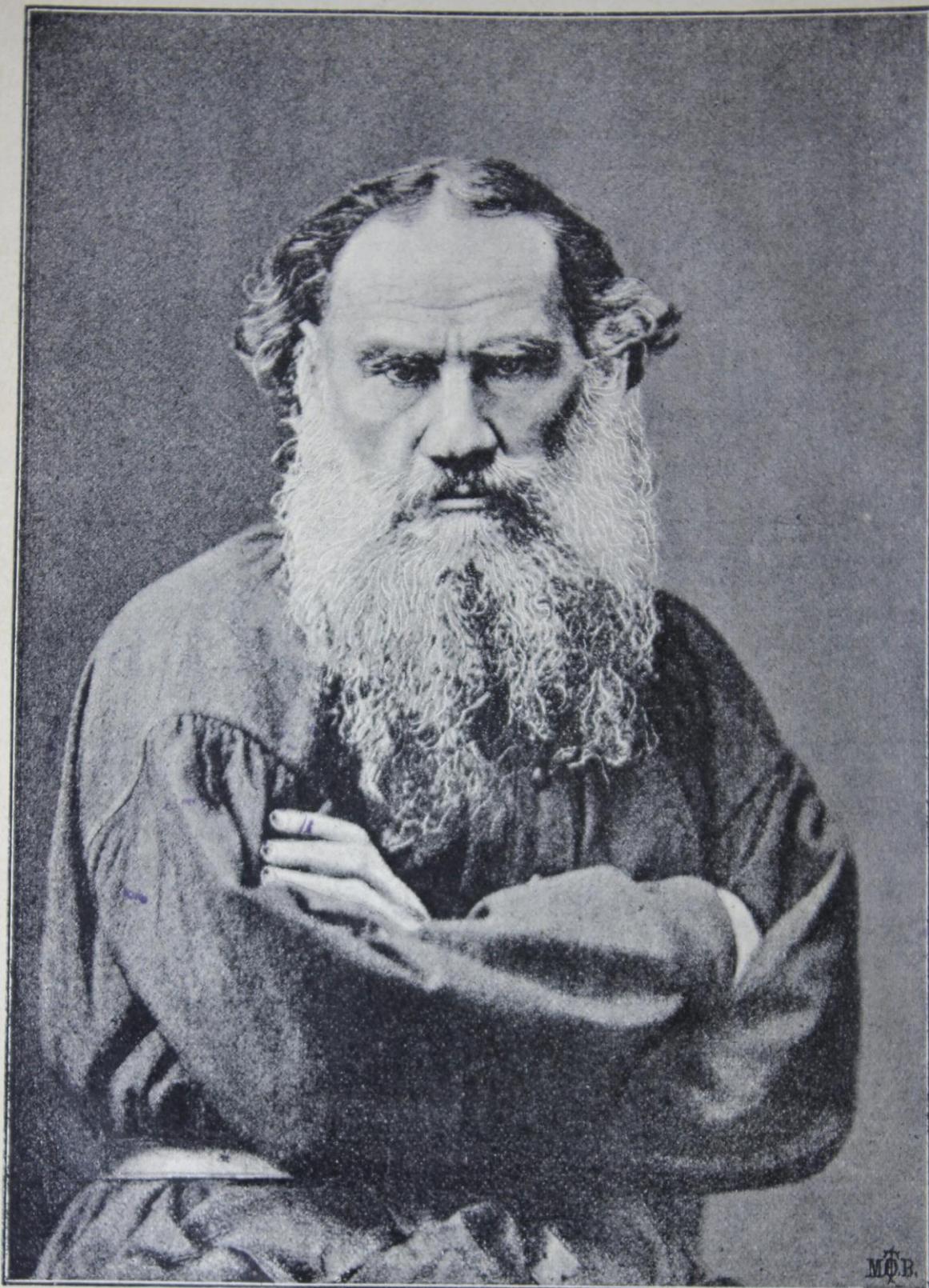
М. Лебедев



ГРАФЪ Л. Н. ТОЛСТОЙ

и

КРИТИКА ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЙ



М.В.

Лев Толстой

Дозволено цензурою. Спб., 7 мая 1887 г.

83, 3 (290c = Руc).1
590

ГРАФЪ Л. Н. ТОЛСТОЙ

и

КРИТИКА ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЙ

РУССКАЯ И ИНОСТРАННАЯ

О. И. БУЛГАКОВА

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ



ИЗДАНИЕ

поставщика ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО Т-ВА М. О. ВОЛЬФЪ

С-ПЕТЕРБУРГЪ, Гост. дворъ, №18 въ МОСКВА, Кузнецкій мостъ, № 12

1899

МУК «Тульская
библиотечная система»



ТИПОГРАФІЯ
ПОСТАВЩИКОВЪ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ
Спб., В. О., 16 л., № 5—7.

ЧАСТЬ I.

1. *Русская критика о Л. Н. Толстомъ.*
2. *Иностранныя критика о Л. Н. Толстомъ.*
3. *Биографические свѣдѣнія о Л. Н. Толстомъ.*
4. *Повѣсти, разсказы и романъ «Семейное счастье».*
5. *«Война и Миръ».*
6. *«Анна Каренина».*
7. *Послѣднія произведенія Л. Н. Толстого.*

РУССКАЯ КРИТИКА.

Общественно-литературная дѣятельность графа Л. Н. Толстого еще ждетъ себѣ должной оцѣнки. Не то, чтобъ критика наша не рѣшалась судить эту дѣятельность. Напротивъ, съ самаго появленія имени Толстого на литературной аренѣ, каждое изъ его произведеній обсуждалось россійскими Аристархами. Одни изъ этихъ Аристарховъ усматривали въ талантѣ Толстого яркое выражение «теоріи свободнаго творчества»; другіе видѣли тутъ торжество «принципа утилитарнаго искусства»; третыи похваливали «современность идей», проведенныхъ съ «логической послѣдовательностью».

А. В. Дружининъ пробовалъ довольно удачно определить значеніе Толстого, какъ нравописателя русскаго быта. «Мысль и поэзія, писалъ этотъ критикъ въ 1856 г., неразлучны съ его очерками, и эта мысль есть мысль человѣка высоконравственнаго, эта поэзія не можетъ называться театральной поэзіей... Графъ Толстой скучъ на великолѣпныя описанія, ибо хорошо знаетъ, что война кажется великколѣпнымъ дѣломъ только для поверхностныхъ зрителей, дилетантовъ. Подвиги, имъ изображенныя, не имѣютъ въ себѣ никакого великколѣпія, кромѣ великколѣпія нравственнаго... Все общее, случай-

ное давно уже отброшено имъ, все типическое, оригинальное, самостоятельное, прямо вытекающее изъ характера русскаго человѣка, предназначеннаго на военную дѣятельность, даетъ пищу Толстому, какъ поэту и рассказчику.»

Семь лѣтъ спустя, П. В. Анненковъ пытался прослѣдить присутствующую въ произведеніяхъ Л. Н. «идею объ естественности и природѣ, какъ критеріумахъ истины». Эта идея живетъ со временъ Руссо, имѣеть свою довольно длинную литературную исторію, неоднократно извращалась въ литературѣ и общественномъ пониманіи, но Толстымъ впервые низведена въ реальный міръ. Въ великому писателю она породила сомнѣніе въ искренности и достоинствахъ «большой части побужденій и чувствъ такъ-называемаго образованнаго человѣка на Руси».

Принимался за разъясненіе Толстого и Аполлонъ Григорьевъ. Критикъ этотъ понималъ силу таланта нашего писателя, сознавалъ, что его произведенія—что-то очень большое и очень важное. Но разъясненіе такъ никакъ чemu и не привело. Главная ошибка этого разъясненія заключалась въ опредѣленіи основнаго міросозерцанія Толстого при помощи теоретического, условнаго масштаба. Отмѣчая предпочтеніе Толстого къ типамъ безропотной покорности и смиренія, Григорьевъ упустилъ изъ виду, что тутъ вся суть въ нравственной идеѣ писателя. Не умѣя, или не желая цѣнить эту идею, какъ ее разумѣеть самъ авторъ, такая критика невольно впадала въ пристрастіе и преднамѣренно вычитывала изъ его произведеній не то, что сказано имъ самимъ, а то, чего хотѣлось критикѣ. Относительно смиреннаго типа такъ и случилось. Личный и, стало быть, непремѣнно узкій критической масштабъ Григорьева пришелся очень по вкусу и некоторымъ изъ послѣдующихъ критиковъ. Изъ нихъ наиболѣе смѣлые и претендовавшіе на проницательность, повторяя мнѣнія Григорьева и примѣняя

ихъ къ позднѣйшимъ твореніямъ Толстого, называли предпочтительное вниманіе, оказанное художникомъ къ типамъ смиренія, кротости и покорности, «философіей бараньяго смиренія», а «Войну и Миръ», особенно за типъ Каракаева, объявляли романомъ, проникнутымъ «растлѣнною моралью».

Послѣ Григорьева пробовалъ свой критический скальпель надъ Толстымъ и Д. И. Писаревъ. Сначала-было, со свойственнымъ этому критику скоропалительнымъ увлеченіемъ, онъ не замѣтилъ въ произведеніяхъ Льва Толстого ничего, кромѣ чистой художественности, но вскорѣ затѣмъ, съ неменѣе свойственной Писареву искренностью, сознался, что такое мнѣніе никуда не годится. «Дѣтство», «Отрочество», «Юность», «Утро помѣщика», «Люцернъ» заставили даровитаго критика призадуматься надъ тѣмъ безнадежнымъ воспитаніемъ, какое формировало «страшно болѣзенные» характеры личностей, подобныхъ Иртеньеву и Нехлюдову.

Во всѣхъ этихъ попыткахъ критики, а еще болѣе въ послѣдующихъ, разумѣется, не обходилось дѣло безъ укоровъ по адресу невѣрно понятаго писателя. Тотъставилъ ему на видъ «бездѣльность творчества», этотъ не годовалъ на «предвзятость идей» его, иной просто-таки объявлялъ ретроградомъ за отреченіе отъ всякой фальши цивилизованной жизни и за сочувствіе людямъ, не тронутымъ этой фальшью. Такіе укоры дѣлались чаще и произносились смѣлѣе по мѣрѣ возрастанія литературныхъ успѣховъ Льва Толстого. Газетные и журнальные кудесники видѣли въ «Войнѣ и Мирѣ» проповѣдь «дикаго, чисто-восточного фатализма». Романъ «Анна Каренина» внушалъ этимъ вершителямъ обвинительного приговора надъ независимымъ писателемъ «положительное омерзеніе», ибо въ романѣ усматривалось ими лишь «бесмысленное и бездѣльное созерцаніе красотъ природы ради одного только слащаваго умиленія передъ ними».

Находились и такие моралисты-критики, что причисляли Толстого къ разряду художниковъ, «способствующихъ пониженію нравственного уровня въ обществѣ», а самый романъ «Анна Каренина» именовали «эпопеей барскихъ амуровъ», проникнутой «внутренней безнравственностью».

Да и одни-ли журнальные цѣнители проявляли тутъ свою проницательность? Съ ними оказывались солидарными литературные сверстники Толстого, считающиеся авторитетами по части художественной критики. Тургеневъ находилъ, напримѣръ, что романъ «Война и Миръ» слабъ «исторической стороной» и «психологіей». «Исторія его—фокусъ, битье тонкими мелочами по глазамъ; психологія — капризно-однообразная возня въ однихъ и тѣхъ же ощущеніяхъ». Объ «Аннѣ Карениной» отзывъ Тургенева еще рѣзче. Дважды въ «Письмахъ» его находимъ упоминаніе объ этомъ. «Въ «Аннѣ Карениной» онъ (Толстой) a fait fausse route: вліяніе Москвы, славяно-фильского дворянства, старыхъ православныхъ дѣвъ, собственного уединенія и отсутствіе настоящей, художнической свободы. Вторая часть просто скучна и мелка, вотъ что горе!» На 260 стр. тѣхъ же «Писемъ» читаемъ: «Анна Каренина» мнѣ не нравится, хотя попадаются истинно великолѣпныя страницы (скачка, косьба, охота). Но все это кисло, пахнетъ Москвой, ладаномъ, старой дѣвой, славянщицой, дворянщицой и т. д.» Вообще, въ обоихъ великихъ твореніяхъ и генералы литературные, и вторившіе имъ подпоручики, привыкшіе одобрять въ художественныхъ произведеніяхъ лишь политическія тенденціи, не найдя этихъ тенденцій по своему вкусу, сни-
ходительно признавали заслуживающей вниманія одну описательную сторону «Войны и Мира» и «Анны Карениной». «Скачка, косьба, охота» — въ послѣднемъ романѣ, «бытовое, описательное, военное» — въ первомъ — вотъ на что допускалось безподобное мастерство Толстого. А то,

что составляет «душу живу» этихъ произведеній, оставалось какъ-бы скрытымъ отъ критиковъ.

Послѣ «Анны Карениной» представился новый поводъ къ суду надъ Толстымъ.

На основаніи личнаго опыта и глубоко человѣчныхъ побужденій своего золотаго сердца, дерзнулъ онъ отнести отрицательно къ современной педагогіи и къ такъ называемой «новой школѣ», проглотившей нѣмецкій аршинъ и копающейся въ нѣмецкой пыли. И тутъ-то поднялась тревога. Гг. педагоги, отъ мала до велика, стали вонить на писателя, вторгшагося въ ихъ «спеціальность», сравнивали его съ «сапожникомъ, пекущимъ пироги», совсѣмъ позабывъ или, точнѣе, не пожелавъ узнать, что этотъ «сапожникъ» въ дѣлѣ воспитанія былъ гораздо болѣе на своемъ мѣстѣ, нежели они, считавшіе себя пирожниками по профессіи, а на повѣрку занимавшіеся тачаньемъ сапоговъ. Раздраженіе или самомнѣніе помѣшало возмутившимся педагогамъ признать, что русскій писатель открылъ цѣлый міръ богатой, внутренней жизни дѣтей, міръ, остававшійся до него невѣдомымъ. По весьма справедливому замѣчанію одного изъ нашихъ критиковъ, вообще несклоннаго раздѣлять мнѣнія Толстого, «ни общество, ни литература наша, конечно, никогда не забудутъ великихъ педагогическихъ заслугъ Толстого». Онъ проникъ въ самые сокровенные уголки дѣтскаго міра и, вѣроятно, «не одинъ разъ придется всякому учителю и наставнику, понимающему свое призваніе, справляться съ открытиями Толстого для того, чтобы провѣрить свои планы образованія и уяснить многія загадочные проявленія дѣтской воли и души».

И что-же получилось изъ всей этой кутерьмы пересудовъ писателя? Въ лучшихъ случаяхъ каждый хотѣлъ видѣть въ дѣятельности его торжество собственной теоріи, оправданіе личныхъ своихъ взглядовъ и тенденцій, а тутъ, какъ-будто нарочно, этотъ писатель съ каждымъ

новымъ изъ своихъ созданій разочаровывалъ надежды всякихъ односторонностей и личныхъ возврѣній. Его дѣятельность шла въ разрѣзъ съ теоріями, не отвѣчала тону ни западниковъ нашихъ, ни славянофиловъ, не приходилась по мѣрѣ разнымъ классификаціямъ, по которымъ привыкли дѣлить русскихъ писателей. Для него какъ-будто не существовало прошлаго. Онъ никому не подражалъ, не былъ причастенъ, какъ замѣтилъ еще Дружининъ, ни къ одному изъ грѣшковъ Россійской словесности, ни къ ея общественному сантиментализму, ни къ ея робости передъ новыми путями, ея стремленію къ отрицательному направленію, и всего менѣе къ отжившему дидактическому педантизму. Къ Толстому въ высшей мѣрѣ примѣнима заповѣдь Пушкина настоящимъ поэтамъ:

Дорогою свободной
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ.

И Л. Н. Толстой, дѣйствительно, шелъ своей свободной дорогой въ теченіе всей своей литературной карьеры. Въ его лицѣ русской критикѣ пришлось вѣдаться съ небывалой независимостью, съ литературной самостоятельностью, не знающей себѣ предѣловъ, съ свободой творчества, съ изумительной устойчивостью противъ литературныхъ традицій, съ необычайной прямотой и искренностью, съ серьезнымъ взглядомъ на жизнь, съ нравственной стойкостью. Эти качества человѣка были постоянно одинаковы во всѣ періоды дѣятельности Льва Толстого и дополнялись качествами великаго художника: самобытной силой фантазіи, могучимъ анализомъ, эпическимъ спокойствиемъ въ приемахъ творчества, невѣдомымъ до него художническимъ безстрастiemъ въ отношеніи къ своимъ типамъ и героямъ, которые писались безъ прозрачныхъ диопрамбовъ и предвзятыхъ обобщеній, не для превознесенія или намѣренного приниженія какихъ-либо принциповъ или тенденцій.

Наша присяжная критика и не пыталась никогда взвѣшивать въ полной совокупности всѣ перечисленныя качества такой исполинской личности. Пробовалъ было г. Страховъ, вскорѣ послѣ появленія «Войны и Мира» указать на «бездѣйнныя откровенія души человѣческой» въ этомъ романѣ, на художественную его высоту, на его общечеловѣческое значеніе. Но этого критика тогда осмѣяли жестоко. И, несмотря на изученіе Толстого со всевозможныхъ точекъ зрѣнія, въ итогѣ сущность его художественно-литературной и общественной дѣятельности осталась неразъясненной.

Надо-ли послѣ того удивляться толкамъ, какіе вызваны у насъ съ недавняго времени однимъ изъ послѣднихъ произведеній Толстого, извѣстнымъ публикѣ и по иностраннѣмъ переводамъ, и по рукописнымъ экземплярамъ, и по выдержанкамъ, проникавшимъ на столбцы русской печати? Сколько великодушныхъ сожалѣній, сколько презрительныхъ насмѣшекъ возбудила «Исповѣдь» Льва Николаевича. Толстой-де «промѣнялъ положеніе художника на роль маленькаго іересіарха», сокрушаются беллетристы, по ихъ собственному признанію, видящіе въ искусство и поэзіи источникъ лишь «извѣстныхъ пріятныхъ впечатлѣній», иначе сказать,—проводникъ мелкаго реализма, неоживленного дѣятельной или хотя бы дѣльной мыслью. Толстой-де «усвоилъ ложную точку зрѣнія», «дошелъ до геркулесовыхъ столбовъ», онъ «гоняется за своей собственной тѣнью». Другіе вторятъ этимъ опечаленнымъ господамъ, скорбя о «мистицизмѣ» писателя, о томъ, что для него наступила пора безсилія, творческаго истощенія. Иные даже почему-то оскорблены «Исповѣдью» и, какъ было въ позапрошломъ году съ г-жей Кохановской (нынѣ покойной), злобно издѣваются надъ этимъ произведеніемъ, въ ихъ глазахъ достойнымъ чуть-ли не анаѳемы. Находятся, наконецъ, господа психиатры, ни мало не обинуясь и не смущаясь, пресерьезно

объявляющіе автора «Исповѣди» съумасшедшими. Словомъ, исканіе геніальныи писателемъ успокоенія въ безмятежномъ мири души, подтверждаемое «Исповѣдью», приравнивается къ развалинамъ человѣка, которому не суждено возродиться, подобно Алексѣю Александровичу Каренину, нашедшему себѣ успокоеніе въ мистицизмѣ отъ семейнаго горя.

Насколько правдоподобны всѣ эти поспѣшные приговоры, можно судить по значительнымъ выдержкамъ изъ «Исповѣди», почти перепечаткѣ ея, приведенной въ книгѣ М. С. Громеки «Послѣдняя произведенія графа Л. Н. Толстого».

Громека обнаруживаетъ оригинальное дарованіе и— что еще важнѣе въ настоящемъ случаѣ—прекрасное сердце. Онъ подошелъ къ произведеніямъ Толстого безъ лживаго благоговѣнія и не въ мундирѣ патентованнаго критика, ищущаго «обосновывать» свои выводы на теоріяхъ или авторитетахъ, либо что-нибудь подобное въ этомъ премудромъ родѣ. Громека изучилъ этого писателя, не примѣривая къ нему ходячихъ классификацій и тенденціонныхъ взрѣній, горячо полюбилъ его, какъ великаго наставника и человѣка чудной души, и потому понялъ его міровоззрѣніе, а понявъ это—могъ написать то, что вылилось изъ души подъ вліяніемъ внимательнаго изученія.

Для Громеки «Анна Каренина» и «Исповѣдь» служатъ наиболѣе краснорѣчивыми разъясненіями идеї и задушевныхъ симпатій, а вмѣстѣ съ тѣмъ и сокровенной истинности его поэзіи. Недаромъ присяжная критика такъ осудила «Анну Каренину», особенно эпилогъ романа. Эта поэзія и эти идеи всѣ вышли изъ области непосредственнаго чувства, враждебнаго разсудочному міросозерцанію и непонятнаго людямъ, живущимъ абстракціями или механизмомъ общественныхъ отношеній. Такіе суды могли только угадать чутьемъ, что въ «Аннѣ Карениной» есть что-то, превышающее обыденный тонъ, но идеи произве-

денія и, какъ справедливо доказываетъ Громека, весьма крупной идеи, не замѣтили.

Нисколько неудивителенъ и обвинительный приговоръ, произнесенный нашими журнальными Аристархами надъ романомъ въ періодъ его печатанія. Въ ихъ глазахъ въ «Аннѣ Карениной» яко-бы отсутствуетъ общественное содержаніе. Въ подобномъ приговорѣ опять-таки сказался невольный протестъ разсудочного міросозерцанія противъ непосредственного воззрѣнія на жизнь. Какъ же, помилуйте, въ «Аннѣ Карениной» великий художникъ доказалъ, что въ области чувства не можетъ быть безусловной свободы, а есть свои законы, и отъ воли человѣка зависитъ согласоваться съ ними и быть счастливымъ, или преступать ихъ и быть несчастнымъ. «Нѣть здѣсь свободы близоруко и преждевременно торжествующему въ наше время свою ложную побѣду человѣческому разсудку, думающему, что онъ можетъ измѣнить законы человѣческаго духа, игнорируя ихъ силу, и преобразовать ихъ согласно своимъ отвлеченнымъ концепціямъ. Нельзя разрушить семью, не создавъ ея несчастія, и на этомъ старомъ несчастіи нельзя построить новаго счастія. Нельзя игнорировать общественное мнѣніе вовсе, потому что, будь оно даже невѣрно, оно все-же есть неустранимое условіе спокойствія и свободы, и открытая съ нимъ война отравить, изъязвить и охладить самое пылкое чувство. Бракъ все-же есть единственная форма любви, въ которой чувство спокойно, естественно и безпрепятственно образуетъ прочныя связи между людьми и обществомъ, сохраняя свободу для дѣятельности, давая силы для нея и побужденія, создавая чистый дѣтскій міръ, создавая почву, источникъ и орудія жизни. Но это чистое семейное начало можетъ созидаться лишь на прочномъ основаніи истиннаго чувства. На вѣшнемъ разсчетѣ построено оно быть не можетъ. И позднее увлеченіе страстью, какъ естественное послѣдствіе старой лжи, разрушивъ ее, не

исправить тѣмъ ничего и приведетъ лишь къ окончательной гибели, потому что... «Мнѣ отмщеніе и Азъ воздамъ».

Но всего лучше и свѣтлѣе выясняетъ идею романа исторія Долли, хотя она и стоитъ на второмъ планѣ «не только для большинства, но, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, даже для самаго автора». Громека прекрасно говоритъ о ней: «какъ чистое золото слишкомъ тяжело и мягко, чтобы быть прочнымъ и удобнымъ для обращенія, такъ и чистые люди неудобны въ житейскомъ обиходѣ, несчастны, остаются въ неизвѣстности и забвѣніи».

Дѣйствительно, ненадѣленная красками, кажущаяся безцвѣтною, Долли, среди блестающихъ и благоухающихъ женскихъ образовъ романа, изъ всѣхъ свѣтскихъ его женщинъ, одна свѣтить алмазомъ чистой воды. «Долли, худенькая и слабенькая, сидящая съ своими порѣдѣвшими волосами въ спальнѣ у Анны, въ своей заплатанной кофточкѣ, съ волненiemъ и жалостью слѣдящая за разсказомъ красавицы Анны; Долли, положившая свою нѣжную, исхудалую руку на головку провинившейся, рыдающей слезами раскаянія Маши; Долли, нѣжно упраѣющая Левина за его суетное и близорукое самолюбіе, умоляющая Каренина простить Анну и въ подтвержденіе, забывая гордость, открывающая ему свое собственное семейное горе; Долли, платящая мужу добромъ за зло, прощеніемъ и любовью за пренебреженіе и разореніе; Долли, горюющая всѣми болѣзнями и горестями дѣтей, счастливая однѣми ихъ утѣхами и радостями; Долли, неспособная промѣнять этотъ міръ, полный личныхъ несчастій, на всѣ блага земли,—эта Долли дѣйствительно герояня, а ея страницы—однѣ изъ самыхъ возвышенныхъ во всемъ романѣ. Она знала другое счастіе, другое удовлетвореніе — счастье безкорыстной любви, полное удовлетвореніе собственною внутреннею правотой, непонятныя

для большинства, съ его побужденіями эгоизма и самолюбія, но для нея несомнѣнныя. Къ ней, какъ къ Татьянѣ Пушкина, Лизѣ Тургенева, матери (въ «Дѣтствѣ») и Мари Болконской того-же графа Толстого, могутъ быть примѣнены слова, которыя такъ любилъ Бѣлинскій:

Я все земное совершила—
Я на землѣ любила и жила.

Но рядомъ съ дилеммой семейнаго счастья Толстой въ художественномъ образѣ Левина воплотилъ поворотъ общественного духа отъ старого раціонализма къ непосредственному общенію съ природой и Божествомъ. Это уже давно зародившееся настроеніе, враждебное равно и эмпиризму, и «трансцендентальному раціонализму», распространяется съ каждымъ годомъ все шире и шире. Въ доказательство Громека напоминаетъ о Шопенгауэрѣ, о Гартманѣ, Владимира Соловьевѣ, даже о «невинномъ Захерѣ Мазохѣ», ссылается на статьи г. Страхова о Герценѣ («Борьба съ Западомъ въ нашей литературѣ», кн. I), подчеркиваетъ и то, что Тургеневъ такъ часто задумывался о смерти, обращаетъ вниманіе на «Вопросы о жизни и духѣ» Льюиса. Этотъ рядъ доказательствъ, въ случаѣ надобности, можно бы значительно увеличить изъ современной литературы западной и нашей, свидѣтельствующей, что «современное философское сознаніе направлено именно въ ту сторону, где лежать основанія левинскихъ мнѣній и вкусовъ». Уже по одному этому типу Левина долженъ быть намъ особенно дорогъ.

Но Громека, пользуясь «Исповѣдью» и сопоставляя высказанное тамъ съ мнѣніями Левина, справедливо полагаетъ, что въ Левинѣ сконцентрированъ общественный смыслъ всей художественной дѣятельности самого Толстого. Въ Левинѣ представлена исторія душевной эманципаціи рефлектирующаго русскаго человѣка XIX-го столѣтія, который, послѣ долгихъ сомнѣній и мучительныхъ

поисковъ сердца, убѣдился въ ограниченности разума и неспособности его проникнуть въ глубины жизненной тайны, и напелъ въ безпределности познающей силы непосредственного чувства путь къ постиженію того блага, которое живетъ независимо отъ всякихъ временныхъ и мѣстныхъ формъ, блага христіанской души, христіанского человѣчества. Такъ и Толстой умомъ говорилъ долго въ одинъ тонъ съ XIX-мъ вѣкомъ,—разсудочности и индивидуализма, а сердцемъ своимъ жилъ всегда въ природѣ и съ природой. Онъ всю жизнь прислушивался къ голосу природы и у нея одной учился понимать вѣчную душу человѣка, ея благо, ея счастье, ея Бога. Онъ долго жилъ въ страшномъ противорѣчіи, «умомъ живя съ девятнадцатымъ вѣкомъ, а сердцемъ въ будущихъ вѣкахъ». Произведенія его выражаютъ рядъ фазисовъ исторіи души ихъ автора. Въ нихъ какъ-бы сказались невольное и еще затаенное недовольство нашей эпохи ея разсудочнымъ міросозерцаніемъ и начинающейся поворотъ отъ невѣрія, отчаянія и убийствъ къ вѣрѣ, надеждѣ, къ прощенію, къ любви.

Можно сколько угодно не соглашаться съ Громекой, можно спорить съ нимъ, но никто не возмется отрицать за этимъ разъясненіемъ смысла дѣятельности Толстого заслуги первой попытки изучить писателя съ точки зрењія его идей и мнѣній.

Эта попытка заслуживаетъ тѣмъ большаго вниманія, что здѣсь впервые міровозрѣнія геніального писателя и «едва-ли не самаго замѣчательного человѣка современной Россіи» разъяснено sine ira et studio. Каждому, кто желаетъ съ пользою для себя прослѣдить, какъ постепенно слагалось это міровозрѣніе, Громекой указанъ путь прямой и, стало быть, облегченъ трудъ изученія исторіи души автора «Исповѣди». Разумѣется, она не будетъ открытой книгой для тѣхъ, кому трудно разстаться съ блаженной увѣренностью, будто логическими сил-

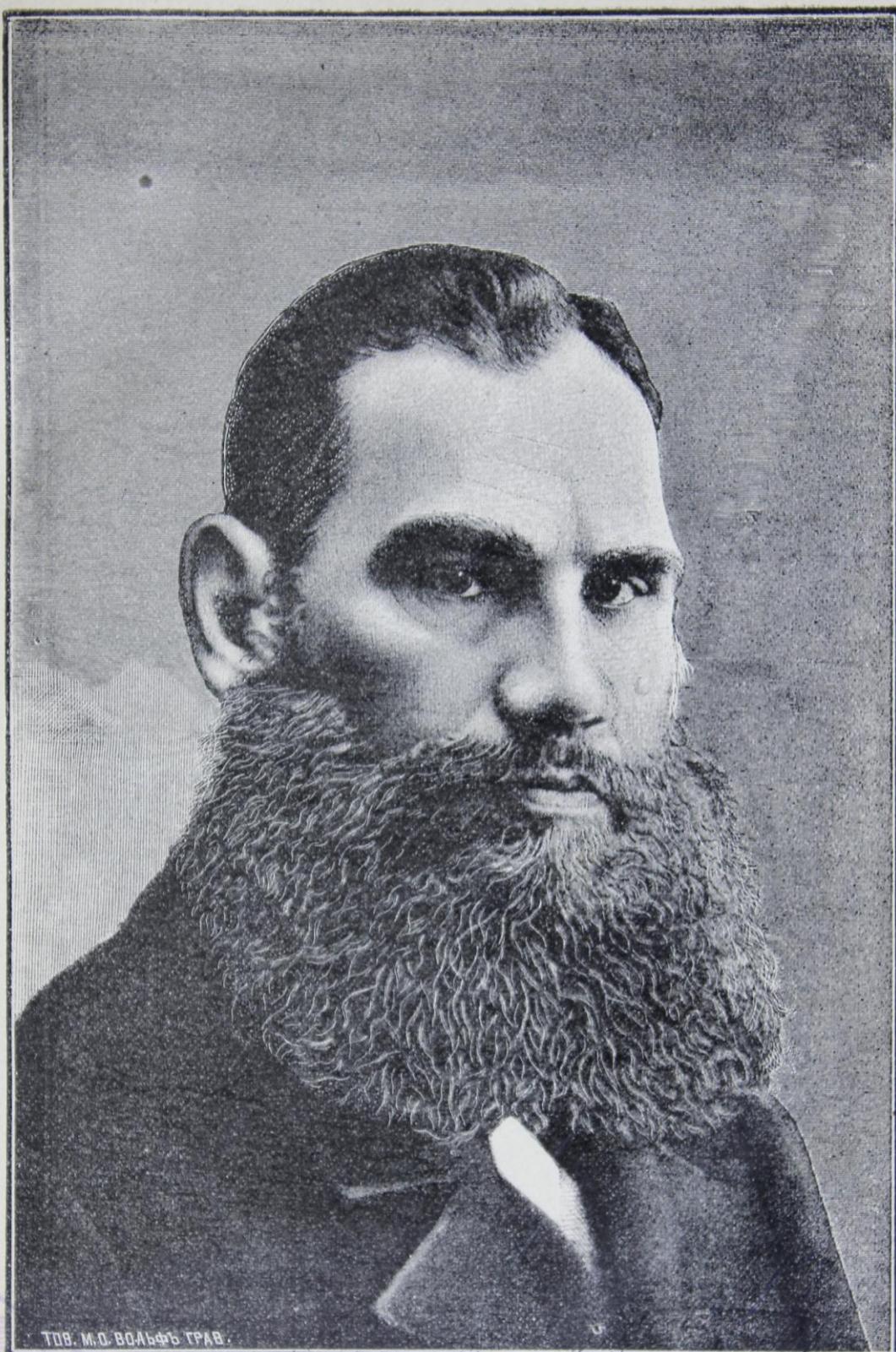
логизмами можно разрешить все на свѣтѣ или будто Толстой показалъ исканіемъ безмятежнаго мира своей душѣ только «sa mani re de tuer ses puces», какъ замѣчаетъ о немъ Тургеневъ въ одномъ изъ напечатанныхъ писемъ къ Я. П. Полонскому. Такие умники съ легкимъ сердцемъ могутъ зачислить Громеку въ разрядъ «изувѣровъ» и на томъ успокоиться, гордясь яко-бы несокрумостью своей логики. Что имъ за дѣло до конечныхъ цѣлей жизни, до назначенія человѣка, до существованія высшаго принципа жизни! Они даже готовы объявить себя свободными мыслителями за то, что умъ ихъ свободенъ отъ такихъ предразсудочныхъ матерій. Для людей же, ищущихъ правды не только разсудочностью умозаключеній, но и сердцемъ, для людей знающихъ цѣну искренности и силы убѣжденія, значеніе этой борьбы за духовное существованіе, отмѣченной въ «Послѣднихъ произведеніяхъ Л. Н. Толстого» и завершившейся примиреніемъ съ жизнью въ безпредѣльной любви къ человѣчеству и въ глубокой вѣрѣ въ торжество добра, становится вполнѣ понятнымъ. Недаромъ еще Шиллеръ, углублявшійся въ философію, пришелъ къ заключенію, непріятному, конечно, всѣмъ такъ называемымъ раціоналистамъ:

Nur der Irrthum ist das Leben
Und das Wissen ist der Tod.

Найдутся, безъ сомнѣнія, и такие изъ читателей Громеки, которые скажутъ, какъ и говорилось у насъ недѣлко, что не надлежитъ художнику заниматься философскими вопросами и что, слѣдовательно, попытка Громеки подвести поэтическія произведенія подъ мѣрку философскихъ идей писателя по меньшей мѣрѣ излишня. Но прежде всего давно бы слѣдовало уничтожить эту условно признаваемую рознь между поэзіей и философіей. Между ними существуетъ тѣсная связь. Это вовсе не

два враждебные полюса. Настоящій поэтъ не можетъ не быть мыслителемъ. Творить—не значить ли мыслить конкретно, мыслить образами? Величіе поэта основывается на величіи его мыслей, на оригинальности его міровоззрѣнія. И развѣ поэзія не популяризируетъ самое философію? Съ Кантомъ нѣмцы, напримѣръ, познакомились черезъ Шиллера. А самый пессимизмъ нашихъ дней развѣ почерпался непосредственно изъ сочиненій Шопенгауэра? А «Гамлетъ», а «Фаусъ» развѣ не содержатъ цѣлой системы философіи, которой не постыдился бы раздѣлять самый патентованный философъ, да и какой изъ современныхъ философовъ способенъ создать подобная глубоко философскія творенія? Только идеями или философской стороной художественного произведенія можно измѣрить его нравственное значеніе.

Наконецъ, въ данномъ случаѣ познать эти идеи особенно важно, ибо въ дѣятельности Толстого есть нечто большее и лучшее, нежели величайшее изъ художественныхъ дарованій. Левъ Толстой—человѣкъ, и по замѣчанію Громеки, которое, вѣроятно, никѣмъ не будетъ оспариваться, «человѣкъ въ такихъ предѣлахъ, что немногіе могли и могутъ съ нимъ сравняться». И въ этомъ человѣкѣ Громека старается увидѣть душу въ цѣломъ, не отирая отъ нея ничего по кусочкамъ, и потому никакъ не можетъ, да и не долженъ, отдѣлять его глубокой мысли отъ его глубочайшаго чувства. Левъ Толстой—художникъ и мыслитель, и то и другое исчезаетъ у него совершенно въ его «человѣкѣ», который такъ необыкновенно далекъ отъ всѣхъ профессиональныхъ названій—и заправского поэта безъ мысли, и патентованного философа съ ужасно умной и послѣдовательной системой догматической въ двадцати пяти томахъ и безъ одной страницы живаго человѣческаго чувства».



Л. Н. ТОЛСТОЙ

СЪ ФОТОГРАФИИ К. ШАПИРО

Дозволено цензурою Спб., 2 мая 1886 г.